



PROJECT MUSE®

The Odd Man Karakozov: Imperial Russia, Modernity, and the Birth of Terrorism by Claudia Verhoeven (review)

Марина Могильнер

Ab Imperio, 2/2009, pp. 367-380 (Review)

Published by Ab Imperio

DOI: <https://doi.org/10.1353/imp.2009.0132>



➔ For additional information about this article

<https://muse.jhu.edu/article/561419/summary>



Марина МОГИЛЬНЕР

Claudia Verhoeven, *The Odd Man Karakozov: Imperial Russia, Modernity, and the Birth of Terrorism* (Ithaca and London: Cornell University Press, 2009). 248 pp. Bibliography, Index. ISBN: 978-0-8014-4652-8.

Когда в 1988 году появилась англоязычная версия книги Ирины Паперно “Чернышевский и эпоха реализма” (в русском издании: “Семиотика поведения: Николай Чернышевский – человек эпохи реализма”¹), это стало своего рода откровением для историков революционного движения в России и вызовом для последователей литературоцентричной семиотики культуры Юрия Лотмана. С тех пор прошло более двадцати лет, и странно видеть, как современные авторы, вдохновленные

действительно новаторским для своего времени подходом Ирины Паперно, превратившей односторонний вектор “от текста к реальности” в двунаправленный, пытаются написать еще одного “человека эпохи реализма” так, будто за двадцать лет, прошедших с 1988 года, в русистике ничего не происходило.

Книгу Клаудии Верховен можно было бы назвать “террорист эпохи модерна”: она написана под очевидным воздействием “человека эпохи реализма”, но автором с явными постмодернистскими предпочтениями. Книга посвящена покушению Дмитрия Каракозова на Александра II как архетипическому событию в истории российской модерности и современного терроризма. Эта работа вышла в одном из ведущих академических издательств (Cornell University Press) и, как

¹ Irina Paperno. *Chernyshevsky and the Age of Realism: A Study in the Semiotics of Behavior*. Stanford, CA, 1988. Русское издание: Ирина Паперно. *Семиотика поведения: Николай Чернышевский – человек эпохи реализма*. Москва, 1996.

сообщает автор в предисловии, в процессе подготовки была просмотрена и поддержана целым рядом специалистов-историков, антропологов и литературоведов (включая, например, Арча Гетти и Карло Гинзбурга). На фоне замирания интереса к революционной истории России и переключения историков на сюжеты имперской и национальной политики появление новой книги об истоках радикального терроризма можно назвать знаковым явлением. Но и требования к автору, который смело “выходит один на дорогу”, должны предъясняться серьезные, поскольку в нынешней историографической ситуации трудно ожидать, что эта книга немедленно стимулирует историографический процесс и обсуждение затронутого в ней сюжета.

Это не совсем обычная книга, лишенная единого нарратива, увлекающая читателя чередованием коротких, часто не связанных между собой главок с загадочными названиями. Удивительным образом, для Верховен единственным реальным собеседником — кроме Достоевского и Чернышевского — является Паперно, автор “Человека эпохи реализма”, причем будто “законсервированная” в 1988 году. Недаром Верховен вынесла главку “Историография” в самый конец своей замысловато

построенной книжки, в “Аппендикс С”. Действительно, эта “историография”, ограниченная немногими существующими работами о деле Каракозова, имеет лишь формальное значение для понимания той драмы модерна и терроризма, которая разворачивается на страницах рецензируемой книги. Создается ощущение, что с момента выхода блестящего портрета Чернышевского Паперно в области изучения истоков российской радикальной мысли и политики ничего не изменилось. Неужели никто не обращался к сюжетам, связанным с современным политическим терроризмом, к интерпретации российской политической культуры, неотъемлемой частью которой начиная со второй половины XIX века стал терроризм, к анализу собственно текстуального пространства “подпольной России” и сложного переплетения “текстов” и “реальности” в радикальной политике? Неужели никто не писал про проблемы “русского модерна” и нового политического языка современной политики? Указание на то, что Дмитрия Каракозова судил постреформенный суд, что были сделаны его фотографии и портреты, что он проходил психиатрическое лечение, а газеты “создавали” его “дело”, не может заменить серьезной постановки вопроса о том, что такое российская модерность и

почему Каракозов выступает как человек модерна.²

Каракозов собственно мог появиться лишь потому, что он воплощал новое: он получил “нигилистическое” образование, по-революционному относился к религии, страдал от целого ряда типичных городских недугов, лечился методами новейшей медицины и так далее... (С. 6).

Почему такое воплощение модерна в конкретной судьбе ведет к политической субъектности, выражающейся посредством террора? Подобные умонастроения и даже болезни характеризовали тех современников Каракозова, которые стояли у истоков современной либеральной политики в той же мере, что и у истоков народничества. Вместо постановки проблем и серьезных ответов на них автор во введении предлагает нам риторическую завязку пьесы: маленькие главки – Парадигма; Аргумент; Сюжет; План – следуют одна за другой, лихо проскакивая мимо по-настоящему серьезных вопросов. В конце

действия занавес падает, и мы видим “Аппендикс А”: *Dramatis Personae*, т.е. действующие лица пьесы. Красиво, даже здорово, если бы за этой суперсовременной “сделанностью” драмы о модерном террористе не прятались довольно устаревшие структуралистские подходы. Влияние семиотического структурализма, которое ощущалось в книге восставшей против него Паперно, в работе, написанной через двадцать с лишним лет, вряд ли может быть оправдано чем-то иным, кроме элементарного незнания современной историографии и какого-то труднообъяснимого методологического провинциализма (повторю – при явной постмодернистской “сделанности” текста!).

Диву даешься, насколько внеисторичны любопытные рассуждения автора рецензируемой книги о “неправильном” прочтении образа Рахметова в свете дела Каракозова и о превращении этой неадекватной трактовки в объясняющую модель современного террориста. Верховен придумывает концептуальные названия глав типа “Точка 4 апреля 1866”

² Дискуссию о российской модерности, актуальную и по сей день, в свое время начала Лора Энгельштейн, имя которой не упоминается в рецензируемой книге. Laura Engelstein. *The Keys to Happiness: Sex and the Search for Modernity in Fin-de-Siècle Russia*. Ithaca, NY, 1992. Чтобы не превращать эту сноску в бесконечное перечисление статей и релевантных книг и сборников, ограничусь лишь двумя примерами: David L. Hoffmann, Yanni Kotsonis (Eds.). *Russian Modernity: Politics, Knowledge, Practices*. London, 2000; Mark D. Steinberg. *Proletarian Imagination: Self, Modernity, and the Sacred in Russia, 1910–1925*. Ithaca, NY, 2002 и др.

(название Заключения, С. 174), она создает плотное описание события покушения на разных, как ей кажется, интерпретационных уровнях и смело делает выводы об архетипическом характере изученного ею события для культуры современного терроризма. Но возможность механического перенесения антропологического “плотного описания” в исторический метод и построение на его основе больших исторических генерализаций уже давно дебатировались историками.³ Андрей Зорин был одним из первых исследователей, который сознательно применил гирцевский метод для изучения идеологии (причем на материале российской истории) и теоретически осмыслил этот перенос в обширной вводной главе к своей книге “Кормя двуглавого орла”. Важно отметить, что Зорин вышел из той же литературоцентричной “шинели” российской семиотики, что и Паперно, и очень жаль, что Верховен не знает его главу “Литература и идеология”, где Зорин эксплицитно синтезирует лотмановскую семиотику с гирцевским плотным описанием.⁴

Возможно, чтение Зорина могло бы Верховен осознать, что именно она делает методологически, какие ограничения несет в себе избранный ею подход и как можно привнести историческое измерение в архетипического “человека” некой эпохи.

Настаивая на историчности ощущения времени как одной из основных характеристик модерна, Верховен остается на удивление внеисторична в своем анализе “точки 4 апреля 1866”. Она фактически исключает из рассмотрения процесс поиска и переопределения модели легитимации и восприятия терроризма, который лишь начал намечаться в связи с делом Каракозова. Сергей Нечаев упоминается на страницах рецензируемой книги там и тут по самым необязательным поводам, но никак не в связи с воплощением тех же моделей и сценариев, которые возникли в рамках дела Каракозова. Не знает Верховен и об утверждении в массовом сознании беллетризированных Степняком-Кравчинским образов террористов, которые к концу XIX века совершенно затмили в поли-

³ Специально посвященный этой проблеме “круглый стол” с участием Елены Вишленковой, Михаила Долбилова, Андрея Зорина, Гузель Ибнеевой, Александра Каменского, Геннадия Обатнина, Александра Филошкина, Ольги Цапиной, Александра Эткинда, Микаэла Шиппана, Ричарда Стайтса, Синтии Виттакер и Ричарда Уортмана, а также редакторов *AI* см.: *Ab Imperio*. 2002. № 1. С. 470-554.

⁴ А. Зорин. Кормя двуглавого орла... Литература и государственная идеология в России в последней трети XVIII – первой трети XIX века. Москва, 2001. С. 9-30.

тическом сознании российского общества столь актуального для синхронного восприятия Каракозова героя “Что делать?” Рахметова. Вывод автора, согласно которому в результате покушения Каракозова

...Рахметов, сведенный к своему “греху”, выглядел как парадигмальный революционер, а любой парадигмальный революционер с тех пор выглядел как Рахметов (С. 65),

упрощает и искажает сложный процесс поиска объясняющих сценариев и способов легитимации радикальной политики на протяжении 1870 – 1890-х годов и позднее, в начале XX века. Если Чернышевский, как убедительно показала Пеперно, был “человеком эпохи реализма”, во многом создавая и интерпретируя ее эстетику, то Каракозов явно не годится на роль архетипического “террориста эпохи модерна”. Он не создавал и не интерпретировал некий новый политический канон – это Верховен превращает его в “текст”, что вполне законно с исследовательской точки зрения и дает действительно интересные результаты, но не равнозначно осознанному семиотическому творчеству самого Каракозова. Каракозова и его поступок интерпретировали и пытались наделить смыслами представители разных

групп общества и государства, и это также является, в принципе, предметом анализа в книге. Но превращать Каракозова в Чернышевского эпохи современной политики можно, лишь слепо подражая Паперно 1988 года и не до конца осознавая специфику анализируемой эпохи и среды.

При всем желании Верховен утвердить архетипический статус Каракозова он еще не был политическим субъектом массового общества, само понятие современной политики в его время лишь формировалось... Чтобы увидеть переходность фигуры Каракозова, автору нужно серьезно посмотреть на современное Каракозову общество, пусть только из “точки 4 апреля 1866”, проявить хоть немного социологического интереса, чего Верховен сознательно избегает. Она посвящает целый раздел семиотике каракозовского *армяка*, и в то же время мы все равно остаемся с крайне ограниченными (литературными по большей части) представлениями о среде и окружении Каракозова. Станным образом методологический выбор автора рецензируемой книги вызывает в памяти актуальную для российского интеллектуального контекста самого начала 2000-х годов дискуссию о роли в обществоведении литературного “салона”. Как писал тогда Александр Кустарев,

В российском интеллектуальном салоне издавна господствует литература и искусство, литературоведы и искусствоведы... В салоне никогда не говорят о каком-нибудь Кейнсе или Максе Вебере. Там упоминают Лотмана или Аверинцева, но социальные науки и политическую экономию презирают.

Академическое продолжение этой устной традиции ориентировано на структурализм, семиотику, культурологию... Мистифицированный структурализм (постструктурализм) кажется универсальным аналитическим средством, позволяющим обсуждать общественные проблемы без знания экономики, социологии, политической и социальной истории...⁵

Каким ветром занесло зерна того самого салонного “мистифицированного структурализма” в UCLA, где Верховен готовила свою диссертацию, легшую в основу книги, можно только гадать. Но слова Кустарева вполне аккурратно описывают метод автора рецензируемого издания. Так, тезис Верховен в разделе о каракозов-

ском *армяке* состоит в том, что, в отличие от нигилистов, новый террорист Каракозов использовал костюм не как знак собственной инаковости и оппозиционности, но как средство маскировки в толпе. При этом остаются вопросы в связи с приводимыми в этом же разделе свидетельствами о несоответствиях во внешнем облике Каракозова – наблюдатели все равно замечали в нем некую странность. Если бы Каракозов появился среди толпы, наблюдавшей за выходом царя, одетым как студент, – его бы в чем-то заподозрили? Почему его выход именно в простонародном армяке и красной рубаше, т.е. маскировка и смена социального статуса, да еще и попытка выглядеть как “народ”, символизирует модерность и угрозу толпы, в которой террорист может раствориться? Верховен приводит попавшие в следственные дела и мемуары знакомых Каракозова замечания о “переодеваниях” того времени: как правило, это переодевания в национальные (польские, велико- и малорусские костюмы). Она не знает работ о политике тела и костюма в среде, скажем, ранних украинских националистов середины XIX века,⁶ ее анализ

⁵ А. Кустарев. Запад и русская мысль // Pro et Contra. 2001. Т. 6. № 3. С. 229-230.

⁶ Serhy Yekelchuk. The Body and National Myth: Motifs from the Ukrainian National Revival in the Nineteenth Century // Australian Slavonic and East European Studies. 1993. Vol. 7. No. 2. Pp. 31-59.

вращается вокруг “точки 4 апреля 1866” и очерченного этой точкой текстуального пространства. Поэтому тема народности и восприятия “толпы” Каракозовым в книге уступает место теме функциональности семиотики одежды, характерной для террориста эпохи модерна. В результате раздел книги, насыщенный очень любопытным материалом, позволяющим сделать его самым “социальным” и показать множественные смыслы каракозовского *армяка* и специфику современности “по-имперски”, сводится к тенденциозному утверждению Каракозова как прямого предшественника виртуозно менявших социальные роли и растворявшихся в толпе членов “Боевой организации” партии социалстов-революционеров времен Азефа и Савинкова. Увлекаясь и делая широкие обобщения на основе создаваемого локального насыщенного описания, Верховен пишет, что отношение современного терроризма с массами

фундаментально отлично от отношения с массами большевиков: если терроризм оторван от “настроения масс”, то это происходит потому, что он стратегически связан с их внешним обликом (С. 125).

Но как показали разные по методу и идеологии исследования терроризма в России XIX – XX веков, современный терроризм зависит от настроения масс так же, как от своей способности внешне растворяться в массе. Без моральной легитимации общества, без финансовой и организационной поддержки, без массовой мифологии подполья, без потребителей продукции подполья и о подполье он становится невозможен.⁷ Не случайно в дальнейшем, после Каракозова и Нечаева, террористические группы серьезно озаботились мифологизацией и внедрением в массовое сознание идеальных образов террористов, лишенных реальных психических и моральных недостатков (столь характерных

⁷ Anna Geifman. *Thou Shalt Kill: Revolutionary Terrorism in Russia, 1894–1917*. Princeton, NJ, 1993; Анна Гейфман. *Революционный террор в России, 1894–1917*. Москва, 1997 (Переработанный перевод *Thou Shalt Kill*); Eadem. *Entangled in Terror: The Azef Affair and the Russian Revolution*. Wilmington, DE, 2000; М. Могильнер. Мифология “подпольного человека”: Радикальный микрокосм в России начала XX века как предмет семиотического анализа. Москва, 1999; Индивидуальный политический террор в России. XIX – начало XX в.: Материалы конференции / Под ред. Б. Ю. Иванова и А. Б. Рогинского. Москва, 1996; О. Будницкий. *Терроризм в российском освободительном движении*. Москва, 2000; Susan Morrissey. *Heralds of Revolution: Russian Students and the Mythologies of Radicalism*. New York, 1998 и др.

для героя повествования Верховен).⁸ Но Верховен на самом деле мало интересует общество и его восприятие радикального типа политики помимо тех его сегментов и представителей, которые попали в пределы “точки 4 апреля 1866”.

Хотя в книге об этом не сказано прямо, общество в представлении Верховен – это прежде всего читательская публика, но при этом она не использует работы по истории чтения, а ведь обращение, например, к сборнику “Чтение в дореволюционной России”⁹ помогло бы автору сделать повествование более убедительным исторически и социологически. Что еще удивительнее, Верховен не знает работ Е. И. Щербаковой по истории радикализма и терроризма в России 1860 – 1870-х годов и государственного надзора за террористами (за исключением одной статьи о рецепции “Что делать?” Чернышевского). Верховен и Щербакова работали над своими очень близкими тематически и

хронологически проектами практически параллельно, а в 2008 году Щербакова выпустила книгу под названием ““Отщепенцы”: путь к терроризму (60 – 80-е годы XIX века)”. Тем не менее Верховен формально упомянула единственную известную ей статью коллеги в историографическом Аппендиксе и не сочла ее версию “пути к терроризму” заслуживающей если не серьезного обсуждения, то аргументированной критики.¹⁰

Так же мало мы в итоге узнаем из книги Верховен о специфике современного терроризма, хотя свое исследование автор позиционирует как новый подход к его истории. “Старый подход” у нее сводится к общему тезису Уолтера Лакера о том, что универсальной модели терроризма быть не может и мы должны вести речь о разных терроризмах (С. 4). Однако сама Верховен предлагает один универсальный критерий для всех [революционных] тер-

⁸ Подробно об этом см.: М. Могильнер. Мифология “подпольного человека”.

⁹ Чтение в дореволюционной России. Сб. научн. трудов. Вып. 2 / Сост и науч. ред. А. И. Рейтблат. Москва, 1995.

¹⁰ Е. И. Щербакова. “Отщепенцы”: Путь к терроризму (60 – 80-е годы XIX века). Москва, 2008. Среди ее более ранних работ по теме: “Отщепенцы”: Социально-психологические истоки русского терроризма // Свободная мысль. 1998. № 1. С. 88-100; Россия под надзором: Отчеты III отделения 1827–1869. Сборник документов / Сост. М. В. Сидорова и Е. И. Щербакова. Москва, 2006. Верховен знает лишь одну ее публикацию: Роман Н. Г. Чернышевского “Что делать?” в восприятии радикальной молодежи середины 60-х годов XIX века // Вестник Московского университета. Сер. История. 1998. № 1. С. 59-68, о которой одной строкой упоминает в приклеенном к концу книги историографическом аппендиксе (С. 191).

роризмов: терроризм – это способ стать современным политическим субъектом, реагировать на события непосредственно и сейчас, соответствуя ходу исторического времени. Вопрос о том, почему же этот критерий относится лишь к революционному, а не, скажем, к фундаменталистскому религиозному или националистическому террору, автором не ставится. Она довольно лаконична в обсуждении теоретических вопросов терроризма и не балует читателя анализом многочисленных в последние годы дискуссий о природе терроризма или современной субъектности (что особенно странно, если иметь в виду, что Паперно с начала 2000-х годов принимает в них участие¹¹). Формирование указанной субъектности следует анализировать в рамках материальной культуры модерности (С. 4) – Верховен подает эту мысль как свой оригинальный вклад в историю российского терроризма и при этом не замечает (не знает?), что связь между современным терроризмом и “модерностью” исследователи-русисты стали

интерпретировать задолго до появления рецензируемой книги. Как бы ни относилась Верховен к идеологическим основаниям труда Анны Гейфман, трудно понять, почему она не упоминает ее книгу и статьи о феномене современного российского терроризма.¹² Автор настоящей рецензии в своей книге, посвященной мифологии Подпольной России, также потратила немало страниц, показывая, что современный терроризм стал возможен только как “медиапроект”, что он не мог существовать без публичности, без легитимации общества, без постоянной коммуникации с ним и публичной борьбы за наделение смыслами категорий политики. Отсюда литературоцентризм мира радикальной политики, бесконечное создание литературных моделей и сценариев совершавшихся политических действий, включая террористические акты...¹³ Речь идет не о формальном упоминании тех или иных работ по проблеме, а о том, что всегда интереснее подключаться к некоей дискуссии, которую твоя работа может обо-

¹¹ Irina Paperno. *Dreams of Terror: Dreams from Stalinist Russia as a Historical Source* // *Kritika: Exploration in Russian and Eurasian History*. 2006. Vol. 7. No. 4. Pp. 793-824; Ирина Паперно. Советский опыт, автобиографическое письмо, историческое сознание: Гинзбург-Герцен-Гегель // *Новое Литературное Обозрение*. 2004. № 68. С. 102-127; Eadem. What Can Be Done with Diaries? // *The Russian Review*. 2004. Vol. 63. No. 4; Eadem. *Personal Accounts of the Soviet Experience* // *Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History*. 2002. Vol. 3. No. 4. Pp. 577-610.

¹² См. сн. 4.

¹³ М. Могильнер. Мифология “подпольного человека”.

гатить, изменить или даже радикально переформулировать.

Если бы Верховен была в диалоге не только с “Человеком эпохи реализма”, но и с прочими исследователями в своей области, книга бы только выиграла. Так, Верховен могла бы показать, как коммуникационная ситуация вокруг дела Каракозова раскрывает меняющуюся ткань российской политики, фиксирует отсутствие установившихся каналов коммуникации между радикальной молодежью и другими политическими силами и группировками, конкуренцию моделей восприятия того типа политики, проявлением которого стало покушение Каракозова, и пр. Возможно, тогда объяснение и исторический анализ заменили бы в книге искусственные игры с авторским текстом и с текстами “Что делать?” Чернышевского и “Преступление и наказание” Достоевского (помимо следственных материалов и газетных и мемуарных публикаций по делу Каракозова, этим практически исчерпывается интертекстуальное пространство исследования Верховен). Более того, возможно, тогда книга не воспринималась бы как сильно запоздавший клон “Человека эпохи реализма”. Необязательность проделанной автором работы вытекает уже из следующих строк, завершающих авторское введение:

Следует сказать, что хотя эта логика (автор предлагает версию организации глав. – М.М.) лежит в основе организации книги, ее главы не обязательно читать по порядку. Глава 1, например, рассматривает основные события в более-менее хронологической манере, но она не обязательна для понимания того, что следует далее. Аналогичным образом, хотя основные методологические вопросы книги раскрываются через нехитрые совпадения между Каракозовым и Раскольниковым в главе “Преступление и наказание”, знакомство с этой, четвертой по порядку, главой, не требуется для того, чтобы понять прочие главы... (С. 9).

Конечно, современная книга по истории, чтобы иметь успех, должна в идеале быть интересной по форме и увлекательной по содержанию, но при этом неплохо бы, чтобы она имела смысл в более широком профессиональном контексте, а не только отражала совершенно не обязательную и глубоко идеосинкратическую авторскую метафору некоего прошлого события. Верховен, по сути, ведет речь о понимании политики в конце 1860-х годов и не знает классической работы Ричар-

да Уортмана “The Crisis of Russian Populism”.¹⁴ Она говорит об идее подполья – скрытой сети кружков и подпольных организаций – и не знает литературы о студенческих подпольных сетях этого периода, кроме пары работ советского времени. Самым большим ее упущением является незнание источников и литературы по делу Нечаева: во многом схожая структурно ситуация здесь повторяется в несколько ином контексте, и все проблемы, которые Верховен ставит и разрешает в рамках дела Каракозова и двух больших литературных произведений, форматировавших его восприятие, вновь встали перед обществом, государством и революционерами в контексте нечаевского дела. Современники прочитывали это “дело” и через призму опыта Парижской коммуны, и через романтический идеал тираноборчества (явно актуальный и для Каракозова). Все эти сюжеты в свое время рассмотрели М. Одесский и Д. Фельдман в книге “Поэтика террора”¹⁵ – остается вопросом, почему Верховен прошла мимо этой работы.

Гораздо убедительнее автору удается реконструировать влияние событий каракозовского покушения на литературные тексты,

в частности на “Преступление и наказание” Достоевского. Здесь структуралистский подход, замыкание автора в синхронном контексте двух текстов (текста события и текста романа) дает интересные результаты. Главу “Раскольников, Каракозов и этиология ‘Нового слова’” можно действительно читать совершенно независимо от прочих глав книги – она не принципиальна для разговора о современном терроризме, но позволяет многое понять в том, как Достоевский воспринимал вопросы жизни и смерти, радикального выбора и моральных ограничителей в человеке и вне его и как он реагировал на российскую действительность.

Один из наиболее интересных сюжетов книги Верховен связан с антиКаракозовым, с человеком по фамилии Комисаров, которого провозгласили спасителем царя. Он удачно воплощал идею единения царя и народа, вокруг него быстро возникла соответствующая мифология, его подвиг активно популяризировался в тогдашней прессе и в массовых визуальных образах. Реконструируя эту увлекательную историю, Верховен заявляет, что в лице Комисарова мы имеем дело с первой современной звездой массмедиа (С. 70). Однако

¹⁴ Richard Wortman. *The Crisis of Russian Populism*. Cambridge, 1967.

¹⁵ М. П. Одесский, Д. М. Фельдман. *Поэтика террора и новая административная ментальность: Очерки истории формирования*. Москва, 1997.

достаточно вспомнить механизмы и стилистику героизации и мифологизации, скажем, героев войны 1812 года – в медальях, в лубке, в карикатурах, в журналах и газетах того времени, и мы увидим очень много параллелей с той ситуацией, которую описывает Верховен как отличающую “Russia’s nascent capitalism” (С. 70). Подобно тому как, наряду с медийной аристократизацией образа Комисарова, появлялись “комисаровские” пирожки и пиво, после победы над Наполеоном распространялись примитивные шкатулки, народные игрушки и картинки с портретами благородных героев.¹⁶ Они, подобно Комисарову, становились массовой продукцией своего времени. То, что фотографии позволяли тиражировать образ Комисарова гораздо шире, чем резные шкатулки, говорит о техническом прогрессе и ускорении времени (сегодня тираж фотокарточек отпечатан в Петербурге, а через пару дней он уже распространяется в провинции), но что принципиально нового это говорит о политической культуре общества и возможностях манипулирования общественным мнением? На самом деле нюансы,

переходность, специфику периода, о котором идет речь, мы могли бы увидеть при сравнении механизма массовой мифологизации “контрреволюционного героя” с подобными же механизмами первой половины XIX века и политическими стратегиями, характерными для этапа более зрелой массовой политики рубежа XIX–XX веков. Иначе местами просто виртуозный анализ Верховен оказывается значимым лишь в рамках плотного описания “точки 4 апреля 1866”.

Это особенно ярко проявилось в том, как Верховен расшифровала и интерпретировала единственный и действительно важный для Каракозова теоретический концепт “фактической пропаганды”. Без понимания этого концепта – предупредила нас автор еще во введении – невозможно понять суть российской версии современного терроризма. Большая глава, где тщательно реконструируется история болезни Каракозова, названа в манере, характерной для книги в целом: “‘Фактическая пропаганда’, аутопсия, или патологическое происхождение 4 апреля 1866”. Подробности физических и психических недугов и лечения у

¹⁶ Е. А. Вишленкова. Утраченная версия войны и мира: Символика Александровской эпохи // *Ab Imperio*. 2004. № 2. С. 171–210; Она же. Визуальный язык описания “русскости” в XVIII – первой четверти XIX века // *Ab Imperio*. 2005. № 3. С. 97–146; Она же. Увидеть героя: Создание образа русского народа в карикатуре 1812-го года // *Декабристы: Актуальные проблемы и новые подходы*. Москва, 2008. С. 136–153 и др.

разных врачей “террориста эпохи модерна” действительно работают на утверждение образа человека, подверженного всем возможным болезням современного города и стрессам современной жизни: от истерии и ипохондрии до невротозов, суицидальных наклонностей, венерических заболеваний, алкоголизма, проблем пищеварения и проч. Впрочем, таким образом формируется скорее карикатурный портрет человека модерна, что, наряду с нечувствительностью суда к медицинским аргументам самого Каракозова и его адвоката, должно было бы насторожить автора и удержать от педалирования идеи воплощения Каракозовым архетипа современного террориста. Но Верховен слишком увлечена возможностью развития своего локального описания:

Прекрасный образец потрясенной социальной почвы империи, каракозовская телесность предлагает себя в качестве кода революционной политики, которая вышла за рамки своих корней: терроризм родился из больного тела, а не из иррационального ума (С. 147).

Отмеченное всеми возможными язвами модерна тело террористу понадобилось для того, чтобы

придать новый смысл своей неминуемой смерти: “фактическая пропаганда” была пропагандой делом/телом, она знаменовала отсутствие грани между словом (пропагандой) и поступком. Физическая негодность и бесполезность Каракозова позволяла ему совершить этот поступок и превратить бесполезное в полезное, соединить концепцию тираноборчества с идеей жертвы в рамках современной политики (С. 147). Верховен утверждает, что “фактическая пропаганда” составила суть современного терроризма. Однако стоит только заглянуть в историю на несколько десятилетий дальше “точки 4 апреля 1866”, чтобы увидеть, что “фактическая пропаганда” стала риторическим концептом, востребованным как народниками, так и позднее разного рода интеллигенцией леволиберального толка, а реальные террористы прилагали максимум усилий, чтобы исключить из мифологии терроризма представление о возможной телесной (и психической) неполноценности террориста, поскольку это снижало бы ценность его жертвы.¹⁷ Увлекательно, конечно, заниматься исторической экстраполяцией на основе единственного “архетипического” случая, но небезопасно...

¹⁷ М. Могильнер. Мифология “подпольного человека”.

Наверное, если бы Верховен не стремилась создать текст, напрямую продолжающий историю, рассказанную в 1988 году Паперно и претендующий на такую же значимость и оригинальность, она бы правда могла написать очень важную и интересную книгу. Мне же после знакомства со “Странным человеком Каракозовым” захотелось взять в руки уже давно знакомого и любимого “Николая Чернышевского – человека эпохи реализма” и снова его перечитать. В этом Клаудия Верховен безусловно достигла своей цели.



Сергей АБАШИН

Alexander Morrison, *Russian Rule in Samarkand, 1868–1910: A Comparison with British India* (Oxford and New York: Oxford University Press, 2008). 400 pp., maps. ISBN-13: 978-019-954-737-1.

“Недостаток денег; недостаток знания; недостаток власти; всё это характеризовало российское управление в Самарканде в царский период, делая его гораздо менее эффективным, но также гораздо более гуманным, чем то, что должно было последовать после 1917 г.”, – этими словами завершается книга британского историка Александра Моррисона. Возможно, это ключевая фраза, объясняющая цель книги и намерения автора. Во введении Моррисон вспоминает “дискурсивных теоретиков” в роли своих оппонентов. “Дискурсивные теоретики”, в которых угадываются Эдвард Саид и некоторые его последователи, утверждают, по словам Моррисона, что колониальная власть была могущественной и почти тотальной, она распространялась не только на экономику и политику, но и подчиняла себе культуру и мысли колонизированных сообществ. Автор монографии, возражая на эти утверждения, предлагает посмотреть на империю как на